

Николай ВОРОНОВ

Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137, 140, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 164, 166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 65.

Безответственный зачин

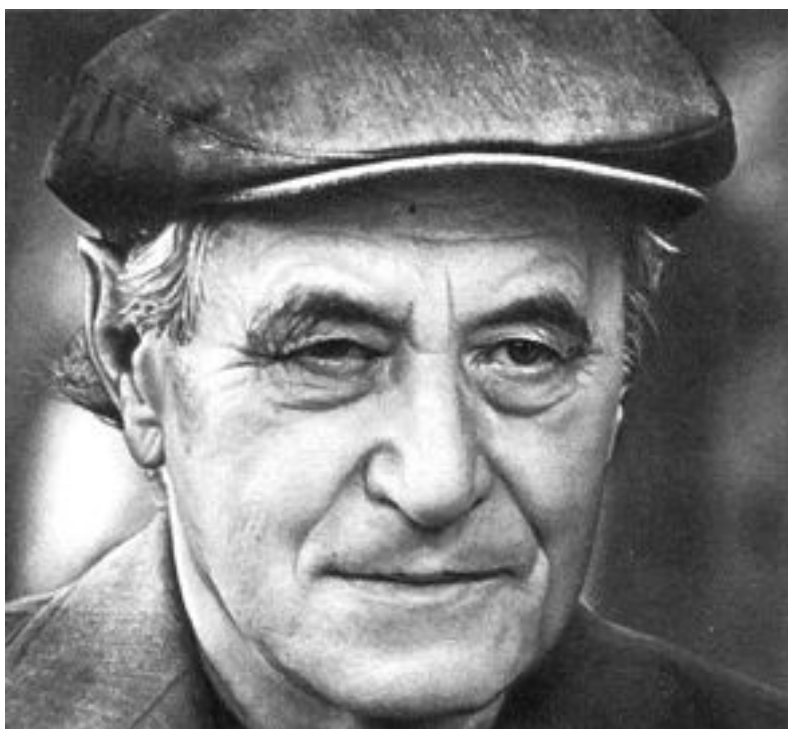
«Следующая в ряду дача – Валентина Катаева. Живет в ней, пожалуй, до сих пор его сын, детский писатель, ставший таковым, скорее всего, по воле маститого отца. В советское время было почти правилом: не способен ни на что другое – в Литинститут его, какой-нибудь писателишко получится...» – таков вот безответственный ткаченкин зачин о Валентине Катаеве.

Находящемуся на отшибе литературного бытия на Сахалине, в Обнинске, да и в Москве, – Ткаченко было неизвестно многое о писателях, их семьях, общих устремлениях. Павла, сына Валентина Катаева, он именует Петром, явно по отчеству отца. Беззастенчивость во всем: от элементарных знаний до общих. После смерти Валентина Петровича дачу перевели не на Павла (и не могли перевести – дачами наделялись по творческим, заметным заслугам или за рабочие секретарские посты), а на талантливого поэта, прозаика Арона Вергелеса, мужа дочери Катаева, Евгении, главного редактора еврейского журнала «Советиш Геймланд» («Советская Родина»).

В отличие от А. С. Т., я знал Валентина Катаева и семью. Павел никогда не стремился жить на даче. После ухода отца – тем более. Он сблизился с женой Василия Асмуса. Развод. Поженились. С этого момента он редко наезжал в Переделкино: пребывал и пребывает в столице. И отнюдь не было в литературной среде столь ничтожного установления: на худой конец проталкивать своих детей в Литинститут, дабы получился какой-нибудь писателишка. Даже столь стойкой, всераспространенной писательской психологии не обрел Ткаченко: каждый писатель стремился быть истинным писателем, и большинство из них не жалело собственным детям убогой участи, потому что убежденно бытовало в их среде мнение: дети писателей, за исключением Дюма-сына, не выходят в писатели.

Мало-мальски ответственного знания о писателях, их творчестве и жизни обрушивает клеветнический напруг Ткаченки. И нахватанности ему недостает для разряжения клевет: слишком уж он чуждался всех и вся, кроме зачарования самим собою, несчастным, для критики, успехов, славы. Повесть «Кубик» (1969 год) он преподносит как первую для нового Валентина Катаева, ради хохмы определявшего себя в разряд мистиков (от французского «мовэ» – дурной), то бишь дурнопишущих. Раньше «Кубика» появились повести «Святой колодец» и «Трава забвения» (1967 год).

Он допускает препротивный ляп, оповестив о следующем: «В последние годы Катаев издал две книги мемуарной прозы, – «Святой колодец» и «Трава забвения», которые опять же с интересом (якобы после «Кубика») читались литературной общественностью. За «Святым колодцем» и «Травой



Валентин Катаев – классик советской литературы

забвения» в разрыве тринадцати лет вышли его еще действительные последние мемуарные вещи: «Алмазный мой венец» (1978-й) и «Уже написан Вертер» (1980-й), о них А. С. Т. или слыхом не слыхал или делает вид, что их не было. Похоже, читать не хотел и сослаться не на кого, кто бы распатронивал их.

Споры с Моруа

Вот как оценивает их Ткаченко: «Жесткие книги, по вьедливой, а то и эпатажной, «для остроты», обрисовки людей (писателей, артистов и пр.), встретившихся автору на его жизненном пути. И все это при ювелирной отделке каждой фразы, непременно густой до приторности, образности». «Святой колодец» и «Трава забвения» – вещи очень разные. Но Ткаченко не до того, чтобы производить различия, иначе наговор не достигнет скабрезного удовольствия. Справедливости ради уточню: «Святой колодец» – повесть почти вне жесткости. Ее название метафорично, и Валентин Катаев оберегает ее от греховности, беспощадности, бесовства.

При всей склонности к эпатажу он редко обращается к нему, а когда применяет его, то ради улыбки, света, доброты, сострадания, мягкого гротеска. То, что он небрежность сына Павла ставить резиновые кеды на угол своего стола, эпатажирует и не сет в себе возрастную психологию подростка, хотя и досадливую для отца, аристократа по рождению, эстета профессионального уклада, но не унижительную для сына.

Припечатав повести «Святой колодец» определяющий эпитет «жесткая», Ткаченко пытался низвести к обязательной черте многообразное, авторское восприятие существующего, минувшего, будущего мира, действительного и воображенного. Уже одно то, что Катаев обнаруживает в себе способность превращения во все материальное и иллюзорное, что видит: в чистилище, в автостраде, в штате Техас, в Солнце, четвертует этот ограниченный до ничтожности эпитет. Кат от беллетристики неожиданно палачествует над собственным несправедливым мериллом. Низведение

художественного существа «Кубика» и двух «последних» повестей к форме, к «ювелирной отделке каждой фразы, и непременно, густой до приторности образности» – клевета на произведение, прежде всего, на «Святой колодец», в которых советская эпоха и бытие Запада нашли отображение через космическую бесконечность подробностей человеческих образов, в социально-исторических проявлениях и устремлениях, в застылости как способе движения, личных и всеземных радостях и трагедиях, в самоанализе всяческого рода и в думах крупных писателей, они же – философы, Анри Барбюса, Андре Моруа, Роберта Фроста.

Поклонение Моруа не мешает Катаеву оспаривать его умозаключение о том, что якобы «нельзя жить сразу в двух мирах – действительном и воображаемом. Кто хочет того и другого, тот терпит фиаско. [...] Моруа ошибается: фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих миров; он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости». Здесь спорит зрелый Катаев: поры поиска подлинной Америки, ибо куда он ни прилетал в ней, там его убеждали: настоящая Америка не тут, а в другом месте: «Ищите, ищите».

Настоящую Америку он нашел среди школьников, на фильме в кинотеатре окраинного Вашингтона, плакавших о надругательстве над черной девочкой, изнасилованной и убитой. В «Святом колодце» Катаева не покидает страдание об Америке, рожденной преступлением белых против цветных. Нет, в этом он не политичен: он – гуманист, переживающий козни национализма: «Белая раса живет в Америке по праву сильного и жестокого, на исконной земле цветных людей, индейцев, презрительно названных краснокожими, которых они почти полностью истребили, а остальных заперли навечно в особые концентрации лагеря, так называемые резервации».

Дружба с Барбюсом

Явно он предугадывал, что это биосоциальное противоречие будет аукаться фашизацией государственно-милитаристических структур Америки: войны против Ирака и Югославии. Отсюда и стремление Катаева к дружбе с Анри Барбюсом и его представлениям о прекрасном в человечестве: «Никто не подозревает, какую можно создать красоту! Никто не подозревает, какую пользу могли извлечь из расточаемых сокровищ, каких высот может достичь возрожденная человеческая мысль, заблудшая, подавленная, постепенно удушаемая постыдным рабством, проклятием заразной необходимости вооруженных нападений и оборон, и привилегиями, унижающими человеческое достоинство; никто не подозревает, что она может открыть в будущем и перед чем преклониться».

При верховной власти народа литература и искусство, симфоническая форма которых едва еще намечается, приобретут неслыханное величие, как, впрочем, и все остальное. Националистические группировки культивируют узость и невежество и убивают самобытность, а национальные академии, авторитет которых покоится на неизжитых суевериях, – лишь пыльное обрамление развалин. Куполы институтов, вблизи как будто бы величественных, просто смешны, как колапсы, которыми гасили свечи. Надо расширять, интернационализировать неустанно, без ограничения все, что только возможно. Надо разрушать преграды, пусть люди увидят яркий свет, великолепные просторы; надо терпеливо, героически расширять путь от человека к человечеству: он завален трупами людей, и каменные изваяния заслоняют дугу дальнейшего горизонта. Да будет все это преобразовано по законам простоты. Существует только один народ, только один народ!»

Тяга Валентина Катаева к великанам литературы и духовности, способных к открытию величайших истин той эпохи, смыкалась с его собственным стремлением открывать подобные истины. Заглубляясь в тайны того, что есть время, он закрепляется на эволюционном материалистическом направлении: от прошлого к будущему, – но обретает в нем и парадоксальность: (вообще это постоянно обнаруживаешь: он – парадоксалист), эдакую психобиологическую константу времени: «Однако здесь, в Хьюстоне, я убедился, что

в момент крайнего душевного напряжения или длительной потери сознания из этого правила (эволюционного. – Н. В.) бывает исключение, и тогда время начинает бежать в обратном направлении – из будущего в прошлое, принося с собой обломки событий, которые еще должны произойти».

Раньше этого психо-биологического открытия Катаев известил читателей, что он увидел убийство президента Кеннеди за год до того, как оно совершилось. И хотя он еще не высказал убедительного причинного предположения, ему веришь: настолько зримо написано само покушение и «обломки» его последствия. Особенно доказательно это написано через жену президента Жаклин: «Я увидел Жаклин в бежевом пальто с черным меховым воротником, которая бежала, держась за металлические ручки санитарного автомобиля, безуспешно пытаясь от-

крыть задние дверцы, за которыми покачивалось окоченевшее тело президента, и ее лицо ... прекрасное, неподвижное, с широко расставленными темными глазами и коротким, немного вздернутым носом...

...Потом Жаклин быстро, как школьница, подобрала полы пальто и прыгнула на сидение рядом с шофером, на ней была очень короткая – по моде того сезона – юбка, открывшая зрелые ноги молодой, богатой, счастливой американки, еще не вполне осознавшей, что вот она уже вдова».

Американская трагедия

Во многом описание трагического события носит подчеркнуто-личный характер: через Жаклин. Не в духе советской художественной школы изображена трагедия: перво-наперво традиционно была бы нарисована утрата для народа США, государства и правительства, гибель выдающегося лидера не только капиталистического мира, но и вообще мира, во всех его системных ипостасях, ибо Джон Фитцджеральд Кеннеди, наряду с Никитой Сергеевичем Хрущевым, и даже, наверное, в большей мере, чем он, предостергал в период Карибского кризиса ядерную войну между СССР и Америкой, за что и отстреляли его. Не ради того, я убежден, Катаев впоследствии саморазоблачается, что его целью в Америке являлся поиск Америки, а ради встречи с первой любовью, девушкой-одесситкой, переехавшей после замужества в штат Техас.

Супружеская судьба Валентина Петровича состоялась (имеет двоих детей и внуку, привязан к ним, хотя и не без насмешливости, в чем он горд и по отношению к себе: сцена, где юные медицинские сестры перед операцией вынимают у него изо рта старый протез, раздают его доната и так весело везут на каталке в хирургический кабинет). Правда, в чистилище, когда он спрашивает жену, любила ли она его, она отвечает, что не любила. И этим не ранено его сердце, потому что единственная в нем женщина – вечная любовь, живущая теперь в США, – и он озабочен встречей с нею, уже вдовой, для выяснения, любила ли она его и почему не вышла за него замуж. И он тихо осчастливлен: любила, а не вышла замуж – была глупа. Самый вроде бы раз остаться с нею, из-за священного трепета не названной по имени, но такой мысли-желания у автора не возникает.

Признание – любовь к Отечеству – сопровождает его жизнь на земном шаре, куда бы он ни залетел, ни заехал («отчаянное, ни с чем не сравнимое чувство тоски по Родине, свойственно моей душе!»). И нам дано опосредовать: в этом случае, а он почти всеохватно присущ русским мужчинам, выделена национальная черта: любовь к Родине у нас крепче любви к женщине! И я целиком верю Валентину Петровичу Катаеву при том, что ведаю о его достоинствах и недостатках, подчас провальных.

Я не просто был знаком с ним: хорошо знаком. Отсюда и мое неприятие ткаченковской оценки мемуарных повестей «Святой колодец» и «Трава забвения», сводимых к жесткости и эпатажу, что равнозначно уподоблению, как если бы свести особь человека к ногтю на мизинце левой ноги и к одной черточке характера – приколам

Продолжение следует

> Дети писателей, за исключением Дюма-сына, не выходят в писатели